

Я всегда знал, что однажды вернусь в этот город, чтобы рассказать историю жизни человека, утратившего имя и душу в сумраке Барселоны, погруженной в кошмарный сон эпохи пепла и молчания. Эти страницы написаны огнем под сенью города проклятых. Они написаны словами, высеченными в памяти человека, вставшего из мертвых с обетом в сердце и ценой проклятия. Занавес поднимается, зрительный зал затихает, и прежде чем теларии опустят тень, распластавшую крылья над его судьбой, на сцену выходит сонм белых духов с весельем на устах. В благословенной своей невинности они верят, что в третьем акте наступит развязка. Они играют спектакль, рождественскую сказку, не догадываясь, что после того, как будет перевернута последняя страница, дуновение тьмы увлечет героя медленно и неизбежно в пучину мрака.

*Хулиан Каракс, «Узник Неба»
(Издательство «Люмьер», Париж, 1992)*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА

1

Барселона, декабрь 1957 года

В канун Рождества рассветы больше напоминали сумерки, дни занимались серые, словно облитые свинцом и подернутые флером инея. Полумрак окрашивал город в сизый цвет, пешеходы спешили по улицам, кутаясь до бровей в теплые пальто, своим дыханием прокладывая туманные тропинки в морозном воздухе. Очень немногие прохожие задерживались у витрины букинистического магазинчика «Семпере и сыновья», и еще меньше было смельчаков, осмелившихся войти, чтобы спросить заветную заблудившуюся книгу. И если оставить лирику и обратиться к суровой прозе жизни, такая покупка могла бы поправить шаткое материальное положение нашей книжной лавочки.

— Думаю, сегодня нас ждет удачный день. Судьба изменится к лучшему, — объявил я, воодушевленный первой утренней чашечкой кофе, ибо этот напиток являет собой самую бодрость и оптимизм в разжиженном виде.

Отец, с восьми утра сражавшийся с бухгалтерской книгой и мухлевавший потихоньку с помощью карандаша и ластика, поднял голову над прилавком. С печалью провожая взглядом потенциальных покупателей, которые проносились мимо витрины и исчезали вдаль со скоростью ветра, он вздохнул:

— Да услышат тебя небеса, Даниель. Если дела будут идти так и дальше, мы проиграем рождественскую кампанию и в январе не сможем заплатить даже за электричество. Нужно срочно что-то придумать.

— Вчера Фермина осенила блестящая мысль, — сообщил я. — Он считает, что изобрел гениальный план по спасению магазина от неминуемого банкротства.

— Господи, пронеси.

Я процитировал своего друга дословно:

— Может, если хорошенько разукрасить витрину мужским исподним, нам удастся заманить и убедить потратиться какую-нибудь экзальтированную дамочку, любительницу любовной литературы и острых ощущений. Сведущие люди говорят, что будущее литературы в руках женщин, и хвала Господу, что еще лишь предстоит родиться рабе Божьей, которая будет способна сопротивляться земным влечениям своего возвышенного тела, — с чувством продекламировал я.

У меня за спиной со стуком упал на пол отцовский карандаш. Я повернулся и добавил:

— Фермин dixit*.

* Говорит (лат.). — Здесь и далее примеч. пер.

Я полагал, что отца повеселит оригинальная придумка Фермина. Однако отец не издал ни звука, и, не дождавшись отклика, я с интересом покопился на него. Семпере-старшему забавный план Фермина явно не показался нелепым и, более того, поверг его в глубокую задумчивость. Отец сидел с таким видом, словно собирался отнестись к нему всерьез.

— Ну и ну, пожалуй, Фермин попал в точку, — пробормотал он.

Я недоверчиво воззрился на него. Напрашивалась мысль, что финансовая засуха, терзавшая нас последние недели, все-таки повредила рассудок моего родителя.

— Только не говори, что ты позволишь мне шастать в подштанниках по магазину.

— Нет-нет, я не о белье. Я имею в виду витрину. Заговорив об украшении витрины, ты подал мне хорошую мысль. Возможно, мы еще успеем спасти рождественские продажи.

Я оторопело наблюдал, как он поспешно скрылся в подсобном помещении магазина и вскоре появился вновь, облаченный в свою парадную зимнюю униформу. В экипировку входили неизменные пальто, шарф и шляпа, памятные мне еще с детства. Беа не раз высказывала подозрения, что отец не покупал себе одежду с 1942 года. Судя по всему, моя жена не ошибалась. Натягивая перчатки, отец рассеянно улыбался, и глаза его горели детским восторгом. Как правило, столь бурный энтузиазм вызывали у него лишь грандиозные начинания.

— Я оставлю тебя ненадолго, — предупредил он. — Хочу отлучиться по делам.

— Можно узнать, куда ты собрался?

Отец подмигнул:

— Сюрприз. Скоро сам узнаешь.

Я проводил отца до двери и видел, как он решительным шагом направился к перекрестку с улицей Врата Ангела, влившись в серый поток пешеходов, тяжело кативший свои волны сквозь зиму — еще одну долгую зиму, окутанную тенью и припорошенную пеплом.

2

Оставшись в одиночестве, я не мог упустить столь благоприятный случай и включил радио. Я не прочь побаловать себя хорошей музыкой, переставляя по своему усмотрению книги на полках. Но мой отец считал дурным тоном, если в магазине, где находились покупатели, звучало радио. Если же я включал приемник в присутствии Фермина, тот принимался напевать саэты*, оседлав любую мелодию, или, того хуже, пускался в пляс, передающий, как он выражался, «чувственные карибские ритмы», чем доводил меня до белого каления. Учитывая все эти отягчающие обстоятельства, я пришел к выводу, что мне следует умерить свою тягу к прекрасному. Иными словами, я мог наслаждаться радиоэфиром лишь в те счи-

* Песнопения в одном из стилей фламенко.

таннные минуты, когда в торговом зале не оставалось ни души — кроме меня и десятков тысяч книг.

Радиостанция «Барселона» транслировала в то утро запись великолепного концерта, который ровно три года назад играл трубач (!) Луи Армстронг со своим оркестром в гостинице «Виндзор палас» на проспекте Диагональ. Запись эта была сделана нелегально каким-то коллекционером-любителем. В рекламных паузах диктор силился интерпретировать музыкальный язык «жасса» (то есть джаза), предупреждая, что отдельные импровизированные синкопы могут оказаться трудными для восприятия и резать слух отечественным слушателям, чей вкус формировался под влиянием тонадиллы, болеро и новых песен в стиле йе-йе, весьма ныне популярных и часто звучавших в эфире.

Фермин частенько повторял, что если бы дон Исаак Альбенис родился черным, джаз изобрели бы в Кампродоне*, как и галеты в жестяной коробке. По его мнению, джаз наравне с бюстгальтерами-конусами (в каких щеголяла обожаемая им Ким Новак в некоторых своих картинах, мы посмотрели их все на утренних сеансах в кинотеатре «Фемина») принадлежал к числу весьма ограниченного количества достижений человечества в XX столетии. И я не имел причин ему возражать.

До середины дня я сибаритствовал, наслаждаясь великолепной музыкой и волшебным запахом книг. Меня охватило чувство приятного покоя и удовле-

* Город в Каталонии, где родился композитор Исаак Альбенис.

творения, какое приносит обычно работа, выполненная на совесть.

Фермин взял с утра отгул, чтобы, по его словам, закончить предварительную подготовку к свадьбе с Берnardой, которая была назначена на начало февраля. Впервые он заговорил о женитьбе всего две недели назад, и мы дружно сказали ему, что он слишком торопится, а спешка до добра не доводит. Отец попытался убедить его отложить бракосочетание хотя бы месяца на два-три, доказывая, что свадьбы полагаются играть летом, в теплую погоду. Однако Фермин упорно не желал менять дату, ссылаясь на то, что он, как человек, продубленный сухим зноем нагорий Эстремадуры, начинает истекать потом с наступлением на средиземноморском побережье лета, по его определению — субтропического. Как он заявил, ему совсем не улыбалось праздновать свою свадьбу с мокрыми пятнами размером с яичницу под мышками.

Я начал склоняться к мысли, что произошло, должно быть, нечто экстраординарное, если Фермин с юношеским пылом рвался под венец. Тот самый Фермин Ромеро де Торрес, который являлся воплощением гражданского сопротивления Святой Матери Церкви, ревностному благочестию и благопристойности, процветавшим в Испании пятидесятых годов, исправно слушавшей мессу и послушно смотревшей выпуски официальной кинохроники. В предсвадебном угаре Фермин дошел до крайности, подружившись с новым настоятелем церкви Санта-Ана доном Хакобо. Этот священник, уроженец Бургоса, отли-

чался фривольными взглядами и повадками отставного боксера. Фермин ухитрился заразить его своей необузданной страстью к домино. По воскресеньям после мессы они стучали костяшками по выдавшей виды стойке в баре «Адмирал». Священник от души хохотал, когда мой друг, пропустив рюмочку-другую ароматного ликера, дотошно допытывался у него, точно ли у монашек есть ляжки, а если все-таки ляжки имеются, правда ли, что они столь нежные и аппетитные, как он воображал в отрочестве.

— Вы добьетесь того, что вас отлучат от церкви, — увещевал Фермина мой отец. — Монахиням нельзя строить глазки, их не полагается трогать.

— Но парень-то почти такой же озорник, как и я, — оправдывался Фермин. — Эх, если бы не сутана...

Я как раз вспоминал этот разговор, подпевая трубе маэстро Армстронга, когда послышалось холодноватое позвякивание колокольчика, висевшего над входной дверью. Я поднял голову, приготовившись встретить отца, вернувшегося из своего тайного паломничества, или Фермина, готового заступить на вахту.

— Добрый день, — раздался с порога глухой, надтреснутый голос.

3

В дверном проеме, заполненном дневным светом с улицы, силуэт гостя напоминал ствол дерева, исковерканный ветром. Посетитель был одет в темный